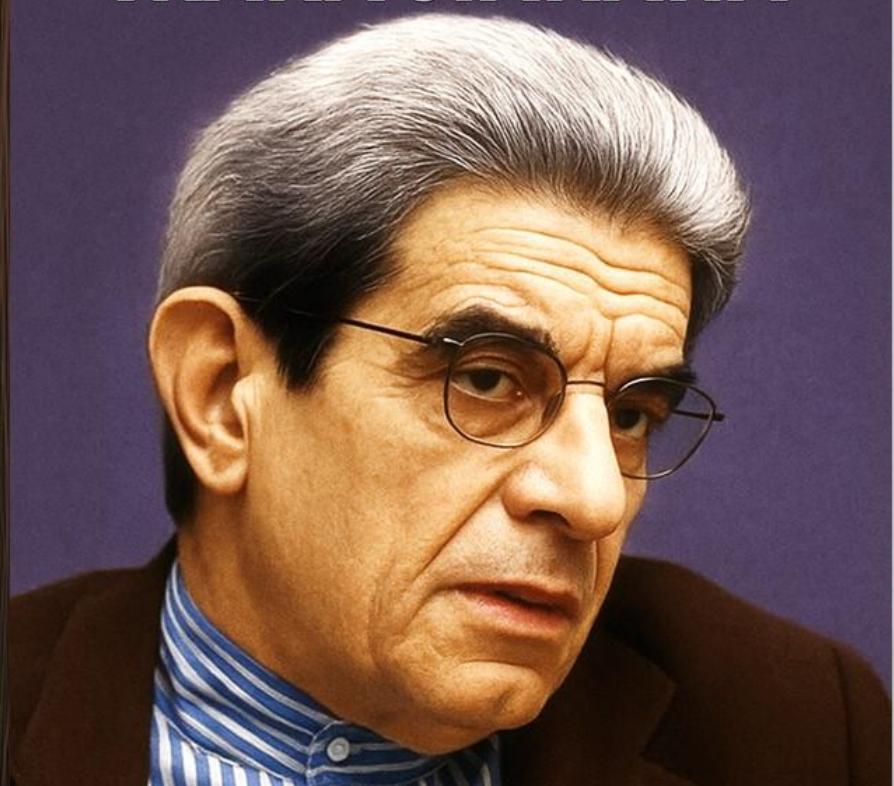


БЕССМЫСЛИЦА ИСТРУКТУРА БОГА ЖАКА ЛАКАНА



БОРИС КРИГЕР

БОРИС КРИГЕР

БЕССМЫСЛИЦА
И СТРУКТУРА БОГА
ЖАКА ЛАКАНА



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to krigerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Бессмыслица и структура Бога Жака Лакана

Перед вами размышление о Жаке Лакане и его философии языка, желания и субъекта. Автор показывает, как Лакан превращает бессознательное в структуру, подчинённую законам речи, а человека — в расщеплённую фигуру, живущую в нехватке и разрыве. Через темы зеркала, закона, наслаждения, пола и реального раскрывается мир, где нет гарантий, но есть форма. Параллельно с изложением — критика: язык не всё, смысл возможен, любовь реальна, а Бог — не структура, а встреча. Это не систематизация Лакана, а разговор с ним — от пустоты к игре, от симптома к свободе.

БЕССМЫСЛИЦА И СТРУКТУРА БОГА ЖАКА ЛАКАНА

Молодой человек приходит к психоаналитику и с порога говорит: «У меня всё хорошо. Просто иногда не могу дышать. Как будто воздух кончается. Но, в общем, это, наверное, ерунда». Он улыбается, старается говорить спокойно, но его рука нервно перебирает пуговицу на рукаве. Аналитик не перебивает. Через несколько сеансов оказывается: накануне первого приступа он получил от матери сообщение — короткую фразу, почти беззвучную, брошенную как обыденность: *«Ты ведь теперь взрослый, мне уже нечего тебе сказать»*. Слова — без явной агрессии, без драмы, — но они запали в тело. После этого и началась одышка.

Если бы бессознательное было хранилищем вытесненных переживаний, можно было бы искать травму, искать подавленную эмоцию. Но здесь действует не образ и не чувство, а фраза. Простая, выстроенная по законам грамматики, лишённая истерии — и тем не менее оказавшаяся *структурой действия*. Она не «обидела», не «напугала», а сработала как означающее. Слово «*нечего*», произнесённое матерью, стало тем, вокруг чего замкнулась петля: нечего сказать — нечем дышать — нечем ответить. Речь превратилась в симптом. Бессознательное не выразило эмоцию, оно построило цепочку, в которой смысл начал скользить. Воздух — как метафора общения, речи, связи — исчез. Появился страх, у которого не было причины, но была грамматика.

Этот пример показывает, что бессознательное — не просто «подсознание» в обыденном смысле. Оно не прячется где-то в глубине. Оно *работает*, как язык. Оно

слушает буквально. Оно повторяет не содержание, а форму. Оно организует страдание не в виде образа, а как фразу, которая повторяется в теле. Именно это имел в виду Жак Лакан: бессознательное — не глубина, а структура. Оно не вещает — оно связывает. И его можно читать. Как текст, в котором тело становится страницей, а дыхание — запятой между словами, которых не сказали.

Когда в 1973 году в эфир французского телевидения вышел выпуск программы «*Psychanalyse*» с участием Жака Лакана, публика, привыкшая к ясным фразам и внятным высказываниям, столкнулась с чем-то совершенно иным. Человек в строгом костюме, с неподвижным лицом и тяжёлым, подчеркнуто замедленным голосом, говорил фразы вроде: «*Я говорю правду. Не всю, потому что всю говорить невозможно. Говорить можно только с тем условием, что она частична.*» Его слушали с напряжением, с раздражением, с восхищением — кто как. Кто-то переключал канал, кто-то делал пометки, а кто-то просто смотрел, заворожённый, не понимая ни слова. После этого эфира Лакан стал известен далеко за пределами психоаналитических кругов. Его не начали цитировать повсюду — но его начали бояться. Он не объяснял, он нарушал. Он не нёс ясность — он дестабилизировал речь.

С этого момента его имя стало своеобразным маркером. Те, кто его читал, вступали в закрытый клуб: одни с пафосом посвящённого, другие — с иронией, третья — с беспокойством. Но мало кто оставался равнодушным. Лакан не предлагал ответов, он разворачивал вопрос —

до той степени, где уже нечем прикрыться. Он не интересовался массовой аудиторией — и всё же его мысли проникли в теорию кино, в феминистскую философию, в архитектуру, в искусство. И когда в какой-нибудь университетской аудитории, обсуждая фильм «Матрица», кто-то произносил: «это лакановский разрыв между воображаемым и реальным» — в этом была отголосок того эфира, где всё начиналось с фразы, произнесённой как заклинание.

Имя Лакана долгое время звучало как пароль, известный немногим. Он не был популярным мыслителем в привычном смысле — не писал лёгких книг, не выступал с публичными манифестами, не стремился к широкому признанию. Его тексты трудны, его стиль запутан, его речи наполнены отсылками, игрой слов, формулами, топологическими схемами, которые даже его ближайшие ученики часто интерпретировали по-разному. И всё же, несмотря на это — или, возможно, благодаря этому — он стал одной из самых влиятельных фигур европейской мысли второй половины XX века.

В узком интеллектуальном кругу его имя произносилось с настороженным уважением — как имя того, кто сумел радикализировать психоанализ до состояния философии, кто вернул Фрейда в академическую теорию и одновременно вырвал его оттуда. Лакана знали в Париже, в среде, где пересекались структурализм, постструктурлизм, философия, психиатрия, лингвистика. Его слушали философы — Фуко, Деррида, Дельоз. Его обсуждали писатели и режиссёры, архитекторы и теоретики кино. Он не был узнаваем, как Юнг, не был популярен, как Эрих Фромм, но его идеи проникли в самые разные области: от анализа

литературного текста до урбанистики, от гендерной теории до политической философии.

Даже те, кто никогда не читал Лакана, слышали формулу о том, что бессознательное структурировано как язык. Она вошла в интеллектуальный оборот, как знак времени, как веха, за которой началась новая эпоха размышлений о субъекте. Его цитировали те, кто с ним спорил. Его пересказывали те, кто его не понял. Его отталкивали те, кто боялся той пустоты, которую он открывал. Лакан — это имя, которое нельзя произнести равнодушно: оно требует позиции, ответа, участия.

Так что слышали о нём — не все, но те, кто продолжал думать, когда система дала сбой. Те, кто искал не истину, а место, откуда она больше не звучит.

Вопрос о возвращении к Лакану сегодня звучит не как каприз интеллектуальной моды, но как настоятельная необходимость, продиктованная самой логикой времени, в котором обострённо чувствуется нехватка языка, способного передать внутренние разломы современного субъекта. Возникая на пересечении психоанализа, философии и лингвистики, его мысли продолжают тревожить и привлекать, словно оставляя в пространстве теории некий непроговорённый остаток, который снова и снова требует быть понятым. Желание обратиться к Лакану рождается не только из стремления распутать сеть его сложных формулировок, но и из попытки распознать за ними структуру, в которой отражается сама природа человеческого желания, постоянно ускользающего от однозначного определения.

Подходя к этому размышлению, приходится преодолевать не только плотную завесу терминологической сложности, но и барьеры, выстроенные его последователями и критиками, нередко превращающими Лакана в идола либо мишень. Однако задача не сводится лишь к критике или апологии. Намерение состоит в другом: в необходимости развернуть перед собой его теоретическое тело, пристально вглядываясь в его швы, стараясь понять, где оно стянуто слишком туго, а где — едва держится. Устанавливая внутреннюю логику его построений, важно не столько доказать или опровергнуть каждый отдельный тезис, сколько уловить, как движется сама мысль, прорываясь сквозь язык, играя с его законами и отказываясь от иллюзии прозрачного смысла.

Попытка говорить о Лакане сегодня требует особой сосредоточенности — не для того, чтобы подтвердить его актуальность формулой «он опередил своё время», а чтобы, следя за ходом его фраз, за зигзагами его примеров, уловить то, что и сейчас остаётся неразрешённым. Временами подступая к его текстам с желанием разоблачить их как риторические игры, обнаруживается, что в этих повторах, искажениях, замедлениях скрывается нечто большее, чем просто метод. Это язык, борющийся с самим собой, язык, стремящийся указать на невозможность полного означивания.

В этой невозможности и обнаруживается то, ради чего стоит вновь и вновь обращаться к Лакану — не ради ответа, а ради того, чтобы ещё раз пережить саму попытку говорить о желании, бессознательном и субъекте, не сводя их к системе, но и не теряя в

бесформенности.

Рассматривая философскую биографию Жака Лакана, невозможно ограничиться простым перечислением событий его жизни или академических заслуг, поскольку само течение его мысли не поддаётся линейному изложению. Родившись в 1901 году в Париже, в семье буржуазного католического круга, он рано ощутил тягу к вопросам, выходящим за пределы медицинского образования, полученного в университетской среде, уже тогда насыщенной идеями психоанализа. Увлекаясь Платоном и Спинозой, он не просто изучал философские системы — он ощущал их как живую ткань мысли, в которой субъект предстает не как центр рассудочной стабильности, но как точка напряжения и раздвоенности.

Погружаясь в психиатрию, Лакан отнюдь не оставлял философские устремления за порогом клиники. Напротив, его первые исследования, посвящённые паранойе и структурам бреда, уже тогда обнажали внимание к вопросам истины, идентичности и воображаемого. В ранней работе о случае Жемэ он обнаруживает не только медицинский интерес, но и тонкую философскую интуицию, указывающую на раскол субъекта как на первичный признак его существования. Именно здесь начинает разворачиваться та логика, которая позднее приведёт Лакана к переосмыслинию фрейдовского бессознательного через язык и структуру.

Период между 1930-ми и 1950-ми годами становится временем интенсивного чтения, в котором философия не только сопровождает, но и питает психоаналитическую мысль. Постоянно возвращаясь к Гегелю, Лакан находит

в «Феноменологии духа» не столько диалектику как метод, сколько драму желания, разворачивающуюся между господином и рабом. Увлекаясь Кожёвом, он не без влияния его семинаров начинает переосмыслять проблему субъекта как сцепление желания, признания и смерти. Эта троица тем становится ведущей в его размышлениях, постоянно переплетаясь с фрейдовскими категориями, которые Лакан будет заново переводить — не только лингвистически, но и концептуально, через призму структурализма, лингвистики и логики.

Период зрелого творчества, охватывающий десятилетия его знаменитых семинаров, представляет собой не столько завершённую систему, сколько философское поле, в котором встречаются Аристотель и Леви-Стросс, Декарт и Соссюр, Паскаль и Кант. В этих пересечениях нет стремления к синтезу — напротив, каждое заимствование превращается в повод для напряжённого размышления, где философия оказывается не фоном, а активной силой, помогающей вскрыть слепые зоны психоанализа. Именно поэтому Лакан столь упорно настаивал на возвращении к Фрейду — не в смысле простого повторения, но как к философу в подлинном значении, чья мысль, однажды высказанная, требует бесконечного перечитывания.

Завершая свои годы в постоянных полемиках и отстранении от официальных психоаналитических школ, он оставался фигурой, глубоко укоренённой в философской традиции, но при этом категорически отказывающейся принадлежать ей. Его мысль сопротивляется институционализации, отказываясь быть сведённой к дисциплине. И именно в этом — её философская сила, заключающаяся не в построении

системы, а в поддержании разрыва, через который можно говорить о субъекте, о желании, о бессознательном, не приписывая им завершённости или окончательного смысла.

Жак Лакан остаётся фигурой, вызывающей не только восхищение, но и замешательство, словно его собственное существование в интеллектуальном поле XX века было направлено на то, чтобы постоянно уклоняться от ясности, которую так стремятся навязать систематизирующие умы. Психоаналитик по профессии, философ по духу, он выстроил свой путь как непрерывное сопротивление — не только традиции, но и самому желанию быть понятым. Его тексты, густо населённые терминами, аллюзиями, парадоксами, часто отталкивали тех, кто ожидал от теории немедленной применимости или хотя бы линейной логики. Однако за этой кажущейся запутанностью скрывался строгий расчёт, не позволяющий уловить суть слишком быстро, словно сам акт понимания должен был быть не итогом, а событием, требующим напряжения, времени, внутреннего расщепления.

Жизнь Лакана разворачивалась в период, когда Франция, пережившая две мировые войны и несколько смен культурных парадигм, становилась центром интеллектуального брожения, и именно в этой атмосфере он формировался как мыслитель. Отказываясь от роли комментатора Фрейда, он заявил о себе как о том, кто возвращает фрейдовскую мысль в её изначальном, неудобном, подрывном виде. Окружённый философами, структуралистами, литературоведами и художниками, он сохранял верность психоанализу,

одновременно трансформируя его до неузнаваемости. В Париже 1950-х и 60-х годов его семинары становились местом сбора тех, кто искал новое мышление — не готовое, не обтекаемое, не комфортное, но способное потрясать.

Школа, которую он основал, оказалась не столько институцией, сколько пространством, где речь становилась лабораторией. Отказываясь от привычной педагогики, он превращал каждое выступление в перформанс, где смыслы возникали не по заранее заданному плану, а как следствие столкновения понятий, отсылок, математических моделей и языковых ловушек. Его речь ускользала, словно нарочно ставя под вопрос саму возможность передачи знания в прямой форме. Этот отказ от упрощения не был капризом или элитарной игрой. Он исходил из этики мышления, по которой любое настояще знание рождается не как передача, а как разрыв, пробел, неожиданное обнаружение себя в чужой формуле. Понять Лакана значило не согласиться с ним, а быть дезориентированным настолько, чтобы начать мыслить по-другому.

Именно поэтому его часто называли психоаналитиком, которого никто не понимал, забывая, что в этом как раз и заключался метод. Не давая формул, которые можно повторить, он провоцировал работу ума, заставляя каждого, кто соприкасался с его речью, вступать в диалог не с текстом, а с собственным бессознательным. Сопротивляясь переводу себя на язык ясности, он оставался верным принципу, по которому истина не может быть сказана иначе как косвенно, через шифр, через ошибку, через разрыв в значении. Его язык, изобилующий отсылками к математике, логике, поэзии,

не был запутанным по небрежности — напротив, он был изощрённо выстроенным механизмом, направленным на то, чтобы разрушить иллюзию понимания как немедленного обладания истиной.

И, следуя этой логике, он не столько передавал знание, сколько создавал условия, при которых оно могло возникнуть, пусть даже ценой непонимания, раздражения или отторжения.

Казалось бы перекрещивание мысли Лакана с философией апогея беспочвенности Льва Шестова на первый взгляд кажется невозможным. Один — строгий структуралист, погруженный в язык, математику, логические парадоксы, другой — философ экзистенциального потрясения, мистик абсурда, ищащий Бога в крике и безмолвии. Однако при более пристальном рассмотрении между ними возникает странный, напряжённый диалог, проходящий сквозь безысходность, скепсис, отвержение разума как последней инстанции. Оба — каждый по-своему — рушат уверенность в универсальной разумности мира. И там, где рациональный субъект рассыпается, Лакан и Шестов смотрят в одну сторону — в сторону предела.

Шестов отвергал систему как обманку, считал, что философия, стремящаяся к гармонии и логике, отказывается от самого главного — от живого, страдающего человека. Он искал истину не в доказательстве, а в вопле, в библейской истории, в Аврааме, идущем на жертву, в Иове, спорящем с Богом. Для него разум — не опора, а враг. Уверенность — маска, скрывающая ужас. В этом — его духовная радикальность. Он хочет сорвать занавес с иллюзии, что

истина может быть выведена, объяснена, представлена. Его истина — не в знании, а в ночи.

Лакан, со своей стороны, тоже отказывает субъекту в доступе к прозрачному смыслу. Он разрушает гуманистическую веру в целостную личность, показывает, что язык, в который вписывается человек, — не путь к истине, а ловушка. Он отнимает у субъекта автономию, отказывает ему в знании о себе, отрезает от желания прямой путь. И если Шестов утверждает: разум не спасает, потому что он всегда слишком поздно, то Лакан показывает: разум никогда не говорит от себя, он всегда говорит чужими словами, уже заданными, уже включёнными в структуру.

В этом оба сходятся: нет опоры — ни в знании, ни в языке, ни в логике. Есть трещина. Есть невозможность. Но различие обнаруживается в направлении их реакции. Лакан остаётся в структуре, он настаивает на расщеплении, но не выходит за его пределы — он работает внутри языка, демонстрируя его сбои. Шестов, наоборот, бросает язык как ненадёжный инструмент, обращается к вере, к бунту, к опыту, не подлежащему понятийному выражению. Если Лакан говорит: *истина имеет структуру фикции*, то Шестов шепчет: *пусть будет истина — даже если она невозможна*.

И в этом различии возникает парадоксальная точка касания. Оба отказываются от универсального — но один в пользу структуры, другой в пользу чуда. Один считает, что желания управляются означающим, другой — что желания могут дойти до Бога. Один остаётся в холодной иронии анализа, другой — в оголённой вере против разума. И всё же: оба видят человека не как центр, а как расщеплённую фигуру, брошенную между

отсутствием смысла и надеждой, что он может родиться — даже если не из знания, а из крика.

В свою очередь, столкновение мысли Лакана с философией абсурда Камю выглядит как пересечение по диагонали: они говорят о разных вещах, разными словами, из разных эпох мышления — но всё же сходятся на той же оси, где человек остаётся один на один с отсутствием гарантии, с миром, в котором нет смысла, но есть структура, нет Бога, но есть желание, нет спасения, но есть акт. Камю начинает с вопроса, считать ли жизнь достойной продолжения, если в ней не обнаруживается никакой высшей цели. Лакан приходит с другой стороны, но касается той же пустоты: субъект говорит, потому что захвачен языком, но этот язык никогда не скажет ему, кем он является, и никогда не соединит его с тем, чего он хочет.

Для Камю абсурд — это разрыв между стремлением к смыслу и молчанием мира. Для Лакана — разрыв между желанием и означающим, между субъектом и тем, что он никогда не может полностью выразить. Камю пишет: «Абсурд рождается из столкновения человеческого зова и глухого мира». У Лакана этот зов звучит, но мир не только глух — он уже организован чужими знаками. Субъект не просто не услышан — он говорит словами, которые не его. Его желание не ведёт к смыслу, оно ведёт по кругу, по цепочке означающих, никогда не достигая удовлетворения. В этом смысле лакановский субъект — это фигура в состоянии абсурда, но уже вписанная в грамматику.

Однако Лакан не задаёт вопроса, как Камю, о самоубийстве как логическом исходе. Он не обсуждает,

стоит ли жить, он утверждает: субъект будет говорить — потому что не может не говорить. Даже молчание становится формой высказывания. Камю же ищет жест, который может удержать человека на краю — и находит его в бунте, в свободе, в акте, совершающем без опоры. Он предлагает Сизифа, который продолжает катить камень, зная, что это бессмысленно, и тем самым превращает абсурд в человеческое достоинство.

Лакан никогда не предлагал фигуру героического субъекта. Напротив — он показывал, что субъект рождается как эффект отсутствия, как результат того, что не складывается. Но он, как и Камю, отказывается от утешения, от идеи окончательного знания, от гаранта. Там, где Камю говорит: «Жизнь — это акт без зрителей», Лакан мог бы сказать: «Речь — это акт без гаранта». Там, где Камю находит свободу в принятии абсурда, Лакан находит свободу в признании расщепления: в том, что субъект — это не целостность, а место трещины, которую можно не закрывать.

И всё же между ними — решающая разница. Камю верит в возможность действия, не опирающегося на высший смысл, но сохраняющего внутреннее достоинство. Лакан в действии подчёркивает его структурную обусловленность: даже жест субъекта — это всегда уже речь, вписанная в Другого. Но в самом акте признания этого вписывания — тоже своего рода бунт. И в этом пересечении Лакана с Камю: оба живут в мире без Бога, без последнего слова, без обещания. Но оба, каждый по-своему, продолжают говорить. Один — о камне, другой — о языке.

Далее, линия пересечения между Лаканом и

Хайдеггером проходит не по поверхности идей, а по самому нерву их мышления — по вниманию к тому, что ускользает, разрывает, нарушает. Они принадлежат к разным традициям: Хайдеггер — к феноменологии, с её метафизическим наследием и поиском бытия через раскрытие, Лакан — к психоанализу, с его языковой структурой, бессознательным и законом желания. И всё же в их разности слышится перекличка: оба не ищут смысла в ясности, оба тянутся к тому, что не поддаётся понятийному захвату, оба работают с пустотами — Лакан в субъекте, Хайдеггер — в бытии.

Хайдеггер утверждает, что язык — дом бытия, но в том же жесте показывает, что бытие никогда не совпадает с речью. Оно не выражается, а лишь *намекается, озаряется, просвечивает*. Слово не раскрывает сущность, а открывает возможность встречи с тем, что всегда на грани исчезновения. У Лакана — другая формула: бессознательное структурировано как язык, но язык, который говорит без субъекта, без контроля, без финала. У обоих — язык не как инструмент, а как пространство, в котором что-то случается. У Хайдеггера это — открытие истины, у Лакана — разрыв, симптом, скольжение означающего.

Хайдеггер говорит о человеке как *Да зайн* — существе, которое открыто к бытию, но всегда от него оторвано, всегда живёт в *не-своём*, в «заброшенности», в страхе перед ничто. Это существо, чья свобода — в возможности умирать, в принятии конечности. У Лакана субъект появляется в точке нехватки, он структурно расщеплён, не совпадает с собой, потому что речь уже опередила его. И в том, и в другом случае — человек не владеет собой: ни в смысле знания, ни в смысле

действия.

Они оба касаются темы истины — но в форме, далёкой от классического понимания. У Хайдеггера истина — это не соответствие, а раскрытие. У Лакана — не знание, а то, что прорывается через ошибку, через симптом, через сбой в речи. Истина — не то, что можно сказать, а то, что *случается*. И в этом — глубокая близость: оба отказываются от истины как обладания. У обоих истина имеет форму утраты.

Хайдеггеровский анализ *ужаса* (ангст), где исчезают конкретные объекты страха и остаётся голое присутствие перед ничем, отзывается у Лакана через встречу с *Реальным* — тем, что не вписывается в язык, не поддаётся символизации, прорывается как шок, как немота, как невозможное. Ужас у Хайдеггера очищает от «болтовни», у Лакана — разрушает иллюзию образа. И в том, и в другом случае субъект стоит перед тем, что его превосходит, не разрушая до конца, но и не давая опоры.

Можно сказать, что Лакан «структуритирует» ужас, Хайдеггер — «экзистенциализирует» его. Один делает акцент на логике бессознательного, другой — на историчности бытия. Но оба сходятся в том, что субъект — не господин, а место разрыва. У Хайдеггера — разрыв между сущим и бытием. У Лакана — между означающим и желанием. И в этой трещине рождается мышление, которое не стремится к окончательному ответу, но сохраняет верность вопросу.

Необходимо отметить, что включение математических понятий в философию Лакана долго воспринималось как эксцентричность, как жест, граничащий с провокацией.

Многие видели в этом ненужное усложнение, интеллектуальную игру, создающую иллюзию строгости там, где царит метафора. Однако при внимательном чтении становится ясно: использование Лаканом математики — не украшение и не демонстрация эрудиции. Это способ выстраивания границ мысли, где язык больше не может полагаться на образ, на психологию, на гуманистическую интуицию. Он ищет точность не ради доказательства, а ради разрыва с привычным способом говорить о субъекте, желании, истине.

Математические формы у Лакана — это не прикладные модели, а философские жесты. Он прибегает к теории множеств, топологии, логике, чтобы показать, что человеческое мышление устроено не в терминах плавности и непрерывности, а в терминах пробела, несводимости, невозможности. Так, пустое множество у него становится образом субъекта, не имеющего положительного содержания, не совпадающего с собой. Борромеевы кольца — не визуальный трюк, а форма, в которой воображаемое, символическое и реальное переплетены так, что разрушение одного разрушает всю структуру. Логика полов, формализованная через топологию и математику высказываний, служит тому, чтобы избежать обманчивой биологической или психологической трактовки пола, возвращая его к точке логического различия, а не телесного признака.

Это оправдано в той мере, в какой Лакан стремится оторваться от образной, иллюстративной философии, в которой термины слишком легко совпадают с вещами. Математика становится у него способом сказать то, чего нельзя сказать «по-человечески». В мире, где язык уже

подозителен, где каждое слово — всегда компромисс, математика даёт иллюзию (и возможность) говорить без субъекта, говорить структурно. Он не предлагает «решения» — он предлагает фиксации, фигуры, к которым можно привязать мышление, чтобы не увлечься обратно в обман идентичности или цельности.

И всё же эта стратегия имеет границы. Математика у Лакана работает не как наука, а как язык, приближающийся к краю реального. Она не служит исчерпывающей моделью, но указывает на то, что не может быть иначе сформулировано. В этом смысле её оправданность — не в строгой достоверности, а в философской функции: обострить мышление, разорвать иллюзию гуманистической ясности, вернуть субъекту его расщеплённость. И как только это сделано — формула может быть оставлена. Она нужна не как истина, а как путь к краю, за которым начинается то, что уже не формализуется.

Именно поэтому математика у Лакана парадоксально соединяется с поэзией: обе стремятся к невозможному, к несказанному, к точке, где язык ломается. Оправдана она постольку, поскольку не становится тотальной. И вредна там, где её путают с гарантией. Она — не система, она — фигура трещины.

В одном из семинаров — в частности, в «Семинаре семнадцатом: Обратная сторона психоанализа» — Лакан прямо говорит: «*Фаллос — это корень из минус единицы*», поясняя, что он представляет собой не нечто положительное, не объект, не орган, а символ, означающее, которое не соотносится с вещью. Фаллос в его системе — это знак нехватки, пустоты, различия, не

совпадающего ни с телесным фактом, ни с устойчивым смыслом. Он — условие символизации желания, но сам лишён стабильного содержания.

Почему именно корень из минус единицы ? Потому что это число, которое *нельзя* помыслить в пределах реальной числовой системы. Оно существует в математике только как обозначение невозможного, как фикция, обеспечивающая работу формулы. Оно — формальное место, не вещь. Фаллос у Лакана — точно так же: он нечто, чего нет, но без чего структура желания не функционирует. Он работает как пустое означающее, которое организует всё вокруг, оставаясь при этом логической фикцией.

То есть, когда Лакан отождествляет фаллос с корнем из минус единицы, он говорит: *фаллос — это невозможное, которое делает возможным*. Это центр структуры, который сам не центр. Это символ функции, а не объекта. Он присутствует только как эффект — как разрыв, как отсутствие, как невозможность полного совпадения между желанием и его выражением. Именно через такую парадоксальную формализацию Лакан сбрасывает с фаллоса его биологическое, анатомическое, патриархальное бремя — превращая его в математическую, почти мистическую точку в структуре означающих.

Когда Лакан говорит, что фаллос — это корень из минус единицы, первое ощущение у непредвзятого читателя или слушателя может быть именно таким: *а не демагогия ли это? не бред ли?* Его язык действительно часто балансирует на грани между изощрённой мыслью и тем, что легко принять за интеллектуальную эксцентрику. Но

если всмотреться внимательнее, с вниманием к контексту, к функции и цели его речи, возникает иное восприятие.

Лакан не использует математическую формулу ради впечатления или метафизического тумана. Он не математик и не мистик. Его цель — разрушить автоматическое понимание понятий, таких как «фаллос», «субъект», «истина». Вместо того чтобы подать их в привычной психологической или биологической упаковке, он предлагает другой ракурс: показать, что эти понятия действуют как структуры, а не как вещи. И для этого он привлекает формализмы — из логики, топологии, математики. Не для расчёта, а для *показа невозможного*.

Фаллос, в традиционной культуре и в психоанализе Фрейда, стал легко соскальзывающим символом — то орган, то власть, то знак желания, то просто клише. Лакан хочет лишить его устойчивости, буквально *вышибить* его из реалистической позиции. Назвав его корнем из минус единицы, он переводит фаллос в категорию того, что существует как структурная необходимость, но не имеет позитивного содержания. Это не бред — это философская стратегия: при помощи формулы разрушить иллюзию.

Однако это не значит, что критика неуместна. Да, лакановский стиль сознательно элитарен. Да, его высказывания часто рассчитаны на внутреннюю работу — они не объясняют, а *возбуждают мышление*. Но отсюда и опасность: его легко цитировать без понимания, использовать как символ пустой глубины, прикрываться его формулами, чтобы производить эффект, а не мысль. И в этом смысле — да, в неумелых

руках, или в отрыве от контекста, его язык может превратиться в демагогию. А иногда — в бессмысленность, замаскированную под глубину.

Так что вопрос остаётся открытым — но не в терминах «бреда», а в терминах *риска*. Риска, что язык анализа станет новым жречеством. Лакан сам понимал это. Потому и строил свою речь как лабиринт: чтобы выйти из него, нужно не поверить, а подумать.

Понимание через непонятное — это не парадокс, а метод, глубоко укоренённый в лакановской мысли. У Лакана речь никогда не даёт себя взять целиком. Она устроена как лабиринт, где всякий раз, когда кажется, что смысл схвачен, он ускользает, рассыпается, отклоняется. Он сам говорил: «*Я говорю, чтобы быть непонятым*», не как отказ от контакта, а как форма мышления, которая требует не усвоения, а столкновения. В его текстах и речи непонятное — не случайность, не препятствие, а основа структуры. Это то, через что проходит субъект, чтобы начать слышать не то, что он уже знает, а то, что тревожит, смешает, нарушает.

У Лакана понимание не является финальной точкой речи. Он разрушает традиционную модель, где мысль движется к ясности, где текст — это путь от вопроса к ответу. Напротив, он делает всё, чтобы ввести читателя или слушателя в состояние неуверенности, раздражения, разрыва, чтобы заставить воспринимать язык не как передатчик смысла, а как механизм, производящий расщепление. И в этом — главная стратегия: непонимание не отменяет понимания, оно его активирует. Пока текст ясен, мысль повторяет то, что уже знакомо. Как только он становится непроходимым

— включается другая работа: не рациональное следование, а движение за тем, что отзыается, но не объясняется.

У Лакана понимание — это сдвиг. Это не овладение значением, а смещение позиции. Оно не случается в момент «я понял», а проявляется как эффект: внезапная ассоциация, пауза, отложенный отклик. Смысл у него не заявляется, а создаётся самим актом чтения или слушания. Слова работают как означающие — они не ведут к знанию, они разрывают привычную логику, оставляя в теле след. Человек у Лакана начинает понимать не когда схватывает идею, а когда чувствует, что его собственная речь изменилась. Когда он произносит иначе. Когда слышит то, что прежде не замечал в себе.

Поэтому у Лакана важно не понимать *что он говорит, а почему* это сказано так, и *что это делает с тем, кто слышит*. Он пишет, как сны говорят — запутанно, символически, с повторами, оговорками, ошибками. И потому путь к пониманию — не прямой. Это постепенное разворачивание собственного бессознательного на фоне чужой речи. Понять у Лакана — значит быть задетым, вовлечённым, дезориентированным. Это не объяснение. Это опыт.

Обращаясь к Фрейду, Лакан не стремился продолжить его дело в привычном смысле ученичества или доктринальной верности. Его «возвращение к Фрейду» оказалось не ретроспективным жестом, а активным вмешательством в саму структуру психоанализа, где важнейшее заключалось не в сохранении системы, но в удержании её трещин. Фрейд, открыв бессознательное как нечто, работающее по своим законам, сам же временами стремился удержать его в границах естественнонаучной модели, где причиной выступает травма, а целью — восстановление. Лакан, напротив, вырвал бессознательное из контекста психологической патологии и переместил его в область языка, структуры, цепочки означающих, тем самым изменив само основание аналитической практики.

Там, где Фрейд ещё мог допустить представление о бессознательном как о хранилище вытесненных содержаний, Лакан настаивал на том, что бессознательное говорит, что оно структурировано как язык и функционирует не как кладовая, а как система скольжения значений, лишённая фиксированного центра. Он вытеснил понятие воспоминания, подменив

его цепочкой означающих, и тем самым отдалил анализ от психотерапии, ориентированной на восстановление прошлого. Лакан делал акцент не на исцелении, а на разрыве, не на нормализации, а на выявлении субъекта в точке его невозможности, где расщепление и есть единственное условие существования.

Различие между терапией и философией, столь ощутимое в классическом психоанализе, у Лакана размывается, но не исчезает. Его аналитическая практика никогда не сводилась к философским рассуждениям — напротив, она была глубоко технической, требующей знания специфических процедур, построенных на топологии, лингвистике, логике. Однако философия пронизывала всё, что он делал, превращаясь в необходимый фон, позволяющий удерживать мышление в состоянии постоянной подвижности. Анализ у Лакана не может быть сведён к терапии, потому что он не ориентирован на снятие симптома, он направлен на встречу с желанием, которое никогда не совпадает с потребностью и не может быть удовлетворено.

Искажение, в котором его нередко обвиняли, заключалось не в неверной интерпретации Фрейда, а в отказе принимать очевидное как конечное. Он разбирал фрейдовские понятия не ради спора, а ради уточнения их границ и возможностей. Либидо, вытеснение, Эдипов комплекс — всё подвергалось реконструкции, в которой термины теряли свою устойчивость, но при этом приобретали новое измерение. Его критики видели в этом разрушение, сторонники — восстановление подлинного ядра.

Сместив акцент с переживания на структуру, с прошлого

на функцию языка, Лакан одновременно утвердил радикальность фрейдовской мысли и вырвал её из контекста психиатрии и гуманизма. Именно в этом и проявляется его двойственная роль: продолжателя и искажающего. Он не шёл за Фрейдом, а возвращал его туда, где тот сам не успел задержаться.

Театральность, окружающая фигуру Лакана, не была поверхностным элементом его преподавания или выражением тщеславия — она была неотделима от самой структуры его мышления. С каждым новым семинаром, с каждым залом, переполненным философами, художниками, психиатрами, студентами, он превращал аналитическую ситуацию в пространство действия, где не просто передавались знания, но разыгрывалось столкновение субъекта с языком, с Другим, с собственной раздвоенностью. Возникавшее вокруг него притяжение не имело ничего общего с академическим следованием. Скорее, речь шла о притяжении к фигуре, которая совмещала в себе черты мастера, актёра и разрушителя традиции, превращая процесс анализа в своего рода драму, в которой понятия становились персонажами, а речь — основным сценическим инструментом.

Семинары, начавшиеся в середине 1950-х годов и продолжавшиеся десятилетиями, быстро приобрели характер события. Не являясь официальной частью университетской программы, они распространялись через рукописные конспекты, прослушивания, переписывания, образуя сеть, в которой мысли обретали форму не в печатных текстах, а в устной передаче. Этот способ существования знания — медленный,

искажённый, циркулирующий через память, слух, интерпретацию — стал продолжением лакановского подхода: речь должна быть недосказанной, чтобы вызвать работу. Он не диктовал, он обрывал на полуслове, он создавал напряжение, заставлявшее слушателя не принимать, а присваивать, не повторять, а перерабатывать.

Учеников у Лакана было множество, но немногие могли выдержать это напряжение. Одни — как Жак-Ален Миллер — посвятили себя комментированию и систематизации его наследия, другие — как Дельоз, Лиотар, Иригарей — оттолкнулись от его языка, двигаясь в собственные направления. Влияние его семинаров распространялось далеко за пределы психоанализа: философия, структурализм, литературоведение, архитектура, теория кино — все они, так или иначе, заимствовали лакановские формулы, интерпретируя их в разных контекстах, нередко превращая их в знаки, подверженные дальнейшему расщеплению.

Но сам анализ у Лакана всё более становился спектаклем, в котором аналитик не позиционировался как тот, кто знает, но как пустое место, точка неуверенности, задающая ритм всей сцене. Он создавал структуру, где трансферанс становился не просто эмоциональной проекцией, а сценой, на которой субъект разыгрывает своё желание, не подозревая, что само желание уже организовано языком, которому он подчинён. Этот спектакль не имел завершения и не обещал катарсиса. Он был цикличным, отчасти абсурдным, местами трагикомичным, но в этой странной структуре разыгрывалась главная истина: субъект не

господин собственной речи, а её продукт, её следствие.

Создавая вокруг себя культ, Лакан в то же время и подрывал его. Его публичные выступления, насыщенные шутками, неологизмами, отсылками к математике и поэзии, не позволяли удержать его фигуру в границах авторитета. Он провоцировал, разрушал, одновременно вызывая восхищение и недоумение. Эффект влияния заключался не в простом повторении его мыслей, а в заражении самим способом мышления, где логика и парадокс, ясность и затемнение, философия и клиника сливались в форму, напоминающую театр, но лишённый режиссёра и финала.

В центре лакановской мысли оказывается утверждение, которое со временем приобрело статус формулы — «бессознательное структурировано как язык». Эта фраза, многократно повторённая, но далеко не всегда понятая, становится ключом к преобразованию всей аналитической традиции. Вместо того чтобы рассматривать бессознательное как темный склад вытесненных желаний или неизведанную глубину психики, Лакан переносит его в сферу знака, порядка, различия. Речь идёт не о том, что бессознательное говорит, словно внутренний голос, но о том, что оно действует по тем же законам, что и язык — законам различия, цепочки, замещения, отсутствия.

Приняв лингвистику Соссюра за исходную точку, он раздвигает границы между означающим и означаемым, показывая, что значение не дано однажды и навсегда, что между словом и тем, что оно должно передавать, пролегает щель, создающая постоянное скольжение смысла. Означающее — это не просто знак,

указывающий на объект, но элемент, работающий в сети других означающих. Его смысл не определяется по внешней привязке, а возникает из положения внутри цепи, где каждое новое слово способно изменить то, что значило предыдущее. В этой системе ни одно значение не фиксировано — оно отложено, смещено, зависимо от контекста, от структуры речи, от желания, которое само не знает, чего хочет.

Именно в этом скольжении обнаруживается субъект, не как автономный владелец сознания, но как производное от означающего, как эффект языка. Субъект, по Лакану, возникает не до языка, а в момент, когда его задевает чужое слово, чужой адрес, чужое требование. Он не столько говорит, сколько проговаривается, не столько управляет речью, сколько оказывается ею управляем. Имя, которое ему дают, язык, в который он вписывается, социальные коды, которые он вынужден усваивать — всё это определяет его ещё до того, как он способен сказать «я». Становясь субъектом, он уже отчуждён, он уже захвачен тем, что не им контролируется.

Бессознательное в этой логике предстает не как глубина, подлежащая расшифровке, а как структура высказывания, где пробелы, ошибки, оговорки, повторы указывают не на скрытый смысл, а на сбой в цепочке означающих. И именно в этих сбоях проявляется истина субъекта — не как сущности, но как разлом, как трещины между тем, что сказано, и тем, что было намерено сказать. Желание, вместо того чтобы быть выражением внутренней потребности, становится эффектом языка: оно возникает там, где что-то не сказано, где смысл проскальзывает, где присутствует нехватка.

Субъект Лакана всегда уже чужой — не потому, что он социально отчуждён, а потому, что он никогда не совпадает с собой. Его «я» — это маска, эффект воображаемого, тогда как его подлинное положение — в месте, откуда он не может говорить напрямую. Лакан помещает субъект в точку разрыва, делая его не хозяином своего желания, а его следствием. Именно эта перспектива разрушает гуманистическую иллюзию цельности и открывает пространство, где речь не выражает, а конструирует, где бессознательное не прячется, а функционирует, где истина субъекта — не в его опыте, а в его сбоях.

В основе лакановского учения лежит тройственная структура, которая не просто разделяет психический опыт на три регистра, но выстраивает из них динамику, в которой разворачивается всё существование субъекта. Эти три порядка — воображаемое, символическое и реальное — не являются уровнями сознания или ступенями развития, скорее они представляют собой три переплетённые плоскости, на которых происходят столкновения, сбои и скольжения, определяющие то, как субъект переживает мир, другого, самого себя.

Лакан отрицает идею цельного человеческого «я». Он считает, что то, что мы воспринимаем как «я» — это иллюзия, сформированная воображением и языком. В раннем детстве, на так называемой стадии зеркала, ребёнок впервые узнаёт себя в отражении. Он видит единый образ и отождествляется с ним, хотя внутренне ёщё раздроблен, некоординирован. Это зеркальное «я» — первая фикция целостности. Оно кажется цельным, но на самом деле это внешний образ, маска, за которой

скрыта расщеплённость.

Для Лакана субъект не совпадает с этим «я». Он появляется в месте разрыва, там, где язык не даёт говорить от себя. Мы не владеем своей речью — она структурирована заранее, чужими словами. Поэтому человеческое «я» не цельно, а конструируется извне, и внутри себя — всегда трещиновато. Настоящий субъект — это не стабильное «я», а эффект нехватки, симптом, что-то, что не может быть полностью осмыслено.

Воображаемое — это то, где субъект впервые встречается с образом, с зеркалом, с иллюзией цельности. Ребёнок, взглянув на своё отражение, распознаёт в нём нечто оформленное, замкнутое, полное, и это восприятие становится его первым образом себя. Но этот образ всегда ложен, поскольку он представляет не то, что есть, а то, чего нет — завершённость, совпадение с собой, контроль. Воображаемое — это регистр узнавания и обмана, это сцена двойников, где идентичность выстраивается как зеркальное притяжение и отталкивание. В этом пространстве царит фантазия: она соединяет, чтобы скрыть расщепление, она лепит единство, которого в действительности нет.

Символическое, в отличие от воображаемого, не опирается на образ — оно структурируется через закон, язык, род, имя. Это порядок, куда субъект вступает не добровольно, а принудительно, через речь, через запрет, через Другого, который уже говорил прежде. Именно символическое придаёт смысл, создаёт структуру отношений, задаёт место в социальной и

лингвистической системе. Закон Отца, Имя-Отца, функции различения и замещения — всё это элементы символического, в котором субъект получает своё место как говорящий, но ценой утраты немедленного удовольствия. Речь здесь не выражает желания, она его конституирует, но делает это в виде нехватки, в виде невозможности.

Реальное — самый трудный и самый устойчивый из трёх регистров. Оно не поддаётся означиванию, не вписывается в язык, не представляет собой образа. Реальное — это то, что возвращается всегда в одном и том же месте, как травма, как невозможность, как шок, который нельзя ни описать, ни представить. Это не реальность, с которой можно вступить в отношения, а нечто, что нарушает все отношения. Реальное не структурировано, оно не организовано, и потому каждая попытка его осмыслить — уже его изгнание. Оно проявляется там, где символическое рушится, а воображенное бессильно — в крике, в теле, в безмолвии, в сбое.

Субъект не живёт в каком-то одном из этих порядков — он всегда втянут в движение между ними. Он выстраивает образы, чтобы скрыть бессиление символического, он ищет в законе опору, чтобы справиться с наплывом реального. Но нигде из этих регистров он не находит окончательного дома. Воображенное обманывает, символическое ограничивает, реальное разрушает. Каждое приближение к полноте тут же подрывается другим порядком, и потому стабильность невозможна. Субъект — не хозяин в мире, где нет центра, нет конечного смысла, нет убежища. Его существование — это

постоянная работа по удержанию связей между тремя несовместимыми измерениями, каждая из которых стремится подменить собой всё остальное, но никогда не может этого достичь.

Зеркальный этап, на котором Лакан выстраивает одно из центральных положений своей теории субъекта, не ограничивается моментом младенческого узнавания своего отражения в зеркале. Этот эпизод, разыгрывающийся между шестым и восемнадцатым месяцем жизни, получает у него статус сцены, на которой субъект впервые вступает в отношение с образом, внешним и завершённым, противоположным тому, что он переживает внутри. До этой встречи телесный опыт ребёнка фрагментарен: он ощущает себя через бессвязные импульсы, боли, прикосновения, движения, не укладывающиеся в цельный контур. И вдруг — это отражение, вызывающее восторг, напряжение, желание — узнаётся как он сам, но узнаётся не потому, что совпадает, а потому, что предлагает то, чего нет.

Именно в этом расщеплении между увиденным и переживаемым возникает Я, которое не совпадает с телесным субъектом, но начинает его представлять. Становление Я, по Лакану, всегда ложное по структуре, потому что оно строится на внешнем, воображаемом образе, принятым как своё. Это не внутренний голос, не подлинная сущность, а отражение, принятое за оригинал. Зеркальный образ не говорит «я есть», он говорит «я хочу быть таким». Возникает фиксация на форме, границе, идентичности, которая удерживает распадающееся тело, но делает это ценой отчуждения:

субъект теперь всегда будет стремиться к совпадению с собой, которого не существует.

Это воображаемое Я становится маской, которую субъект надевает, не в силах отделить себя от неё. Взгляд другого, социальные ожидания, язык, которым он овладевает, — всё это будет строиться на том же принципе: представлять себя через внешний образ, через конструкцию, предназначенную для восприятия снаружи. Я никогда не принадлежит субъекту полностью, оно всегда уже сцена, где разворачивается спектакль соответствия. Отсюда возникает фундаментальное ощущение несоответствия: быть собой — значит быть кем-то другим, отражать, а не совпадать, играть роль, а не обладать сущностью.

В этой логике становится ясно, почему человек всегда оказывается «не тем», кем он хочет быть. Его образ — всегда уже другой, недостижимый, скользящий. Он влечёт, как идеал, но не принадлежит. Даже во внутренних переживаниях — желаниях, фантазиях, страхах — субъект не находит подлинной опоры, потому что его «я» уже составлено из элементов, взятых снаружи. Образ, который он носит в себе, не рождается из самонаблюдения, он приходит извне, и субъект принимает его как обещание целостности, которой в действительности никогда не было. Именно это делает воображаемое столь притягательным и столь обманчивым.

Зеркальный этап, хоть и принадлежит раннему детству, не исчезает. Его структура сохраняется во всех позднейших формах идентичности: в том, как человек строит представление о себе, как стремится к признанию, как ощущает разрыв между тем, кем

является, и тем, кем должен быть. Лакан раскрывает эту сцену не как прошлое, а как постоянную архитектуру субъективного опыта, где каждый шаг в сторону самопонимания ведёт не к истине, а к новой форме отражения, от которой невозможно отделаться.

Понятие Большого Другого у Лакана вырастает не как обозначение конкретного человека или внешнего авторитета, а как абстрактная точка, в которую вписывается структура закона, языка, символической власти. Это не родитель, не начальник, не божество в прямом смысле — но место, из которого субъективный опыт получает свою упорядоченность. Когда человек говорит, он всегда говорит не просто кому-то, но в адрес этой невидимой инстанции, которая слушает, не отвечая, санкционирует, не вмешиваясь. Большой Другой — это не личность, а система, в которой смысл становится возможен, это структура, в которую вплетено каждое слово, каждое желание, каждый запрет.

В традиционном богословском представлении Бог — это всевидящий, всеслышащий, принимающий молитвы и карающий за преступления. Но у Лакана Бог, если он и появляется, занимает место Другого — не как деятель, а как гарант существования языка, закона, символической стабильности. Молитва в этом ключе — не диалог, а обращение в пустоту, в место, откуда должна прийти санкция, признание, смысл. Субъект говорит не потому, что его услышат, а потому что невозможно не говорить, потому что язык уже организует его желание, ещё до того, как он начинает понимать, чего хочет.

Когда возникает вопрос — кто судит, если суда нет, — Лакан отвечает не отрицанием, а уточнением: суд — это

не событие, а структура. Субъект всегда уже находится под прицелом взгляда, но этот взгляд не принадлежит реальному другому. Он исходит из пустого места, которое называется Большим Другим, и именно потому он действует сильнее любой фактической инстанции. Даже в отсутствии внешнего наблюдателя человек продолжает чувствовать, что его оценивают, что за ним наблюдают, что он должен соответствовать. Вина, стыд, амбивалентность поступков — всё это возникает не из конкретной реакции, а из воображаемого положения в поле Другого, которому приписывается знание, сила, моральный вес.

Закон, таким образом, не навязывается извне, он действует изнутри, как структура, уже встроенная в речь, в отношения, в желания. Субъект не просто подчиняется ему — он создаётся им, и потому любое сопротивление оказывается уже вписаным в игру. Даже бунт, даже отказ, даже молчание разыгрываются внутри координат, заданных Другим. Лакан показывает, что невозможно выйти за пределы этой структуры: она не удерживает субъект, она его производит. И потому речь никогда не свободна — она всегда обращена, даже если адресат молчит или отсутствует.

В этом молчании и заключается парадокс: субъект обращается туда, где нет ответа, но где предполагается его возможность. Он молится, зная, что не получит отклика, но всё равно ожидает. Он исповедуется, не будучи услышанным, но чувствует, что уже разоблачён. Большой Другой не действует, но его отсутствие действует ещё сильнее. Он — не судья, но его фигура необходима, чтобы суд стал возможен. Именно в этом месте, между структурой и иллюзией, между знанием и

пустотой, и живёт субъект, всегда в положении подчинённого, всегда говорящего, всегда неуверенного, кому именно он адресует свою речь.

Желание в лакановской теории никогда не бывает простым продолжением потребности или её замещением. Оно не возникает изнутри, как голос тела или чистая воля, но оформляется в пространстве Другого — в языке, в законе, в запрете. Субъект не изобретает своё желание, он обнаруживает его как уже существующее, уже сформулированное, уже обращённое к чему-то вне его. И потому желание всегда оказывается чужим. Оно не совпадает с тем, что хочется в буквальном смысле, не сводится к конкретному объекту. Объект тут — лишь повод, лишь маска, за которой разыгрывается сцена нехватки. Суть желания не в обладании, а в отсутствии: оно существует не благодаря тому, что есть, а из-за того, чего не хватает.

Лакан указывает, что субъект желает не объект сам по себе, а желание другого — он хочет быть тем, чего хочет другой, хочет оказаться в точке, где он сам становится объектом желания. Эта чуждость — не просто социальное влияние, а структура самой субъективности. Желание, как ни парадоксально, не принадлежит субъекту: оно приходит к нему от Другого, оформляется его словами, его требованиями, его взглядами. И даже когда субъект говорит «я хочу», он уже говорит чужими словами, в чужом ритме, по чужим законам. Отсюда ощущение непрерывного расхождения между тем, что кажется своим, и тем, что движет изнутри.

Но если желание — это то, чего нет, то наслаждение (*jouissance*) — это то, что выходит за пределы желания,

разрушая его меру. *Jouissance* у Лакана — не удовольствие в привычном смысле, не гедонистическое переживание. Это нечто большее, за пределами символического, за гранью разумного. Это то, что нельзя ни вынести, ни прекратить, то, что причиняет боль, даже когда кажется желанным. Наслаждение связано с телом, но не как с источником чувственности — скорее как с ареной, где язык вторгается в плоть. Это то место, где удовольствие уже становится разрушительным, где стремление к полноте трансформируется в агонию.

Jouissance — это не награда за выполненное желание, а его крушение. Когда субъект приближается к объекту, к которому вёл его путь желания, он натыкается не на удовлетворение, а на сбой, на избыток, на то, что нельзя интегрировать в структуру речи. Это столкновение с реальным, с тем, что не может быть означенено, и потому переживается как трансцендентный ужас. Не потому, что страшно, а потому, что неподвластно. В *jouissance* исчезает дистанция между желающим и объектом, и именно это уничтожает субъекта как говорящего. Он перестаёт быть тем, кто желает, и становится тем, кто распадается под тяжестью того, что не должен был получить.

Это наслаждение не ищется — оно настигает. Оно прорывается в форме симптома, навязчивости, тревоги, телесной боли или сексуального возбуждения, которое не ведёт к разрядке, а оставляет ощущение избытка. Оно связано с запретом, но не как с ограничением, а как с тем, что делает желание возможным. Ведь только запрет вводит нехватку, а без нехватки желания нет. Но стоит приблизиться слишком близко — и структура рушится. Желание требует дистанции, а наслаждение уничтожает

её.

Именно поэтому желание всегда остаётся незавершённым, скользящим, отложенным. Оно поддерживает движение, тогда как наслаждение останавливает, ослепляет, поглощает. Субъект, желающий, ещё может говорить. Субъект, сталкивающийся с *jouissance*, уже говорит из пустоты.

Реальное в лакановской конструкции не представляет собой объективную реальность или некую внешнюю материю, которую можно описать, зафиксировать, подчинить анализу. Это регистр, который принципиально ускользает от означивания, сопротивляется включению в язык, оставаясь тем, что не может быть сказано, но может быть пережито как сбой, как разрыв, как безмолвный удар. Оно не вне языка — оно внутри него, но как его предел, как место, где речь бессильна, где знаки распадаются, а структура теряет сцепление. Именно в столкновении с Реальным возникает травма, не как событие, а как невозможность его символизации. Не потому, что не хватает слов, а потому что слова не способны охватить то, что не поддаётся форме.

Травма — не то, что случается однажды и оставляет след. У Лакана она обретает особый статус: она возвращается, потому что никогда не была пережита, никогда не была осмысlena, никогда не была вписана в порядок символического. Это не воспоминание, а отсутствие памяти, не образ, а зияние. Она может возникать в форме повторяющегося сна, телесного симптома, провала в речи — всегда как сигнал о том, что нечто не поддаётся переводу. Травма не говорит — она

молчит, и в этом молчании звучит то, чего не может быть.

Язык, приближаясь к Реальному, начинает разрушаться: смысл распадается, логика теряет устойчивость, фразы превращаются в заикание, в крик, в телесную судорогу. Субъект, доходящий до этой границы, больше не производит речь — он оказывается выброшен из символического, оставшись один на один с чем-то, что не имеет ни образа, ни имени. Это соприкосновение — всегда болезненно, и в этой боли скрывается не просто физиологическая реакция, а богословский оттенок. Не в религиозном, а в структурном смысле: там, где кончается язык, начинается не молчание, а обращение к невозможному. Боль становится знаком невыразимого, становится телесной формой Реального, которое невозможно вписать в речь, но которое продолжает настаивать.

Именно в этом пределе возникает то, что можно назвать богословием боли — не как учение, а как последствие встречи с тем, что выходит за границы человеческого означивания. Здесь невозможность превращается в абсолют, в то, что не может быть перенесено ни в символ, ни в образ. Это не абстрактная метафизика, а конкретное переживание субъекта, оказавшегося в точке, где не помогает ни память, ни анализ, ни структура. Всё, что остаётся — это пустота, в которую вглядывается субъект, ощущая, что за пределами языка нет ни истины, ни спасения, а только невыразимое давление, бесформенное присутствие.

Реальное не лечится и не объясняется. Оно не обучает, не очищает, не трансформирует. Оно нависает. Субъект может построить вокруг него стены из ритуалов,

формул, повторений, может изобретать символы, чтобы удерживать его на расстоянии. Но оно всегда прорывается — в теле, в ошибке, в бессмысленном действии. В этом и заключается его ужас: оно не поддаётся ни слову, ни взгляду, ни закону. Оно не даёт себя знать, оно заставляет чувствовать.

Лакан, отказываясь свести половую разницу к биологическим или социальным определениям, выстраивает её как структуру, которая определяется не наличием или отсутствием органа, но отношением к желанию, к закону, к Другому. Женщина в его теории занимает особое место — не как конкретный пол, а как позиция в речи, как фигура, связанная с тем, что ускользает, не вписывается, не поддаётся завершению. Она — не объект анализа и не производное мужского желания, но предел, на котором сама структура начинает давать сбои. Если мужчина, по Лакану, занимает позицию в рамках фаллической логики — где желание подчинено закону, где удовольствие регулируется, где субъект соотносит себя с символом, — то женщина, в его модели, оказывается по ту сторону этой схемы. Она — «не-всё», та, кто не поддаётся формуле, не вписывается полностью в порядок означающего.

Когда Лакан говорит, что «Женщины не существуют», он не отрицает фактическое присутствие женщин, он указывает на невозможность построения универсального означающего, которое бы охватывало женское как таковое. Женщина не входит в символический порядок по тем же правилам, что мужчина, и потому её присутствие всегда асимметрично, всегда искажает структуру, всегда вызывает сбой. Она

находится в особом отношении к *jouissance* — к наслаждению, которое не подчинено фаллическому ограничению. Женское наслаждение, по Лакану, выходит за границы языка, оно не поддаётся исчерпывающему описанию, оно «другое», и именно в этом — его сила и его пугающая глубина.

Эта позиция становится труднопереносимой не только для классического анализа, но и для определённой линии феминистской мысли, стремящейся к позитивной формулировке женского. Лакан, напротив, настаивает, что любое такое определение уже подчинено логике символического порядка, а значит — мужской логике. Женское в его системе — это именно то, что остаётся вне пределов формулы, вне дискурса власти, вне системы, где всё подлежит названию. И в этом внеположении обнаруживается особый тип субъективности, связанный не с утверждением идентичности, а с её размыванием, с её расплывчатостью, с её невозможностью.

Любовь, в этом контексте, не является решением, но становится способом обхода этой невозможности. Она — не соединение, не завершение, а признание несовпадения, признание того, что Другой никогда не может быть полностью понят или присвоен. Мужчина, по Лакану, любит женщину не как другую личность, а как отсутствие, как знак, как загадку, которая указывает на его собственную нехватку. Женщина же, оставаясь «не-всё», может переживать любовь как отношение к тому, кого нет — не потому, что он отсутствует физически, а потому, что не существует символа, который бы его исчерпывал. Отсюда любовь превращается в работу по удержанию невозможного, в постоянное движение вокруг пустоты.

Вопрос о «женском Боге» в лакановской перспективе возникает не как теологическая проблема, а как попытка понять, может ли быть трансценденция вне закона, вне имени, вне отцовской функции. Мужское божество, оформленное через Закон, Язык и Имя-Отца, укоренено в символическом, в порядке означающих. Женское же может быть связано с другим типом трансцендентного — тем, которое не говорит, не называет, не судит, но прорывается через тело, через молчание, через наслаждение, не вписываемое в формулу. Женский Бог — если он возможен — не правит, не регулирует, не требует. Он не создаёт порядок — он является знаком невозможности любого порядка. Это не фигура всемогущества, а фигура того, что остаётся, когда исчезает власть означающего, когда кончается речь, когда субъект встречается с тем, что не может объяснить.

Женщина, в лакановском смысле, не является исключённой — она воплощает само исключение, ту грань, где логика прекращается. И именно в этом её место — не подчинённое, а привилегированное, не ограниченное, а предельно открытое, хотя и невыносимое.

В лакановской картине мира язык действительно предстаёт не как инструмент свободы, а как структура, навязывающая субъекту рамки, в которых он будет существовать, говорить, желать и ошибаться. Человек входит в символический порядок не по собственному выбору: он оказывается в нём задолго до того, как способен осознавать себя. Имя, обращение, семейные слова, социальные роли — всё это предшествует субъекту и формирует его не просто снаружи, но в самой его сердцевине. Лакан прав: язык не служит субъекту, он

создаёт его как эффект своей работы, как место, где означающее перехватывает желание и направляет его по своим, заранее заданным траекториям. Речь не освобождает, она фиксирует, маркирует, структурирует.

В этой конструкции идея о расщеплённом субъекте становится не патологией, а нормой. Лакан утверждает, что никакого цельного Я нет — и не может быть. То, что называют идентичностью, — лишь воображаемая сцепка образов, постоянно поддерживаемая, но никогда не совпадающая с телом, с бессознательным, с историей. Субъект, по Лакану, всегда раздвоен: между тем, что он говорит, и тем, что проявляется в его ошибках; между образом себя и тем, как он видится Другому; между желанием и тем, что ему разрешено желать. Это расщепление — не ошибка, не сбой, а необходимое условие существования. Признание этого несоответствия становится шагом не к отчаянию, а к интеллектуальной честности. Там, где классическая психология ищет целостность, Лакан предлагает выдержать трещину, не стремясь заделать её идеологией гармонии.

Эта честность распространяется и на взгляд на веру. Лакан не отрицает религию как таковую, но видит в ней, особенно в её догматических формах, склонность к вытеснению тревоги, попытку найти внешний порядок, который бы гарантировал смысл и защиту. Религия, по его мысли, может стать ответом на внутренний разрыв, на нехватку, на ужас перед Реальным. Она предлагает фигуру гаранта — Бога как Другого, который знает, слышит, прощает. Эта фигура успокаивает, но и фиксирует. И потому религия может быть неврозом — повторяющимся, настаивающим, не терпящим

сомнений. Однако Лакан не сводит веру только к вытеснению. Он признаёт, что религиозный опыт может быть и способом выдержать невозможное, вступить в контакт с тем, что не укладывается в рациональные конструкции. Но это уже не религия как система, а религия как событие, как граница, как встреча с тем, что нельзя объяснить.

Наконец, страдание — в лакановской оптике — не бесформенно. Оно имеет структуру, оно повторяется, оно подчинено логике бессознательного. Это не означает, что его всегда можно устраниć. Но это даёт возможность говорить о нём не как о хаосе, а как о чём-то, имеющем ритм, форму, адрес. Страдание может быть симптомом, сигналом, проявлением конфликта между порядками — между символическим, воображаемым и реальным. Анализ не всегда исцеляет, но он даёт возможность разорвать повторение, изменить траекторию желания, перестроить отношение к Другому. В этом и заключается его сила: не в том, чтобы избавить от боли, а в том, чтобы сделать её понятной, очерченной, вписанной в структуру, которую можно переосмыслить.

Лакан, устраняя из психоанализа идею о некоем внутреннем «я», заменяя личность структурой, языком, цепочкой означающих, действительно создаёт строгое и блестяще организованное мышление, в котором субъект — не центр, а следствие. Однако в этом теоретическом повороте обнаруживается риск: структура начинает выполнять ту же функцию, что ранее выполнял Бог. Она становится непререкаемым авторитетом, точкой, где сосредоточена истина, при том, что её контуры нельзя оспаривать или изменить. Всё, что отклоняется от её

логики, объявляется иллюзией, вымыслом, ошибкой. В результате структура не освобождает, а удерживает. Она становится тем, что нельзя превзойти — а значит, тем, чему поклоняются. Лакан, разоблачая миф о Боге как гаранте смысла, воспроизводит ту же вертикаль власти, просто называет её иначе.

В этой системе смысл оказывается под подозрением. Он представляется соблазном, попыткой замаскировать нехватку, восстановить цельность, которой нет и быть не может. Лакан боится смысла как идеологии, как обмана. Но человек, в отличие от формальной структуры, не может существовать в пространстве, где всё — пустота и скольжение. Он живёт именно в том, что Лакан отбрасывает как вторичное: в попытках осмыслить, соединить, придать направление. Да, смысл бывает ложным. Да, он может прятать от тревоги. Но он также может быть движением к другому, к ответственности, к свободе. Отказ от смысла — это не всегда критическое мышление. Это порой просто утрата основания. Без него не возникает надежды, не происходит выбора, не формируется голос.

Та же тенденция обнаруживается и в его взгляде на любовь. Лакан рассматривает её как обман, как трюк, где субъект ищет признания в том, кто не способен его дать. Он видит в любви ловушку воображаемого: иллюзию, что Другой сможет восполнить нехватку, закрыть пустоту, подарить цельность. Но любовь, как бы ни была несовершенна, всё же может быть реальной — не как завершённость, а как встреча, как совместное существование в расщеплении. Она не отменяет нехватки, но учит быть с ней — рядом, вместе, не ускользая. Экзистенциальный жест состоит не в

отрицании любви, а в принятии её несовершенства без презрения. Лакан видел в любви обман, но забыл, что даже обман может быть формой истины, если в нём — подлинное движение навстречу.

Его радикальный лингвоцентризм, возводящий язык в абсолют, также требует пересмотра. Мир больше, чем речь. Тело — не только означаемое. Опыт — не только производное знака. Есть прикосновения, молчания, события, которые случаются до слова и помимо него. Есть боль, которая не символизируется, а проживается. Есть простые жесты, не требующие перевода. Когда всё превращается в текст, исчезает материя существования. Человек оказывается замкнут не только в структуре, но и в абстракции. Язык важен — но он не всё. Речь — не вся реальность. За её пределами остаётся плоть, встреча, смерть, прикосновение, одиночество. И каждый из этих опытов не описывает, а свершается.

Лакан видел в бессмыслице предел анализа — знак, что разоблачение завершено, иллюзии разрушены, всё разобрано до основания. Но именно здесь, где он останавливается, может начаться другое движение. Не отчаяние, а выбор. Не замешательство, а возможность говорить иначе, думать иначе, жить, несмотря на зияние. Там, где для Лакана всё распадается в пустоту, может возникать свобода: не как компенсация, а как реальность без гарантий. Это не возрождение мифа, а принятие неизвестного. Не возвращение к смыслу как системе, а движение к жизни как событию, которое не объясняется — но всё равно проживается.

Ответ Лакану начинается с признания его величайшей интуиции: Бог в классическом виде — это место

структуры, гаранта, функции Другого, производящей порядок, ответственность и вину. Но этот Бог — не последнее слово. Его можно увидеть не как истину, а как эффект — ошибку в структуре, сбой, который воспринимается как абсолют. Там, где Лакан утверждает: «Бог — это только то место, откуда, якобы, говорят истину», — можно вставить другой акцент: Бог — не истина, а событие. Не логическая фигура, а живое потрясение. Он не подтверждает устройство мира, а прерывает его. Он не объясняет, а нарушает. Его присутствие не в том, что он знает, а в том, что он зовёт — без гарантий, без власти, без закона.

Вместо Бога, карающего через Закон, возникает образ Доброго и Мягкого Бога — фигура не ироничная, а глубоко этическая. Это не про отказ от структуры, а про мягкость, которую структура не может допустить. Он не наказывает — он берёт на руки. Он не приказывает — он утешает. Это миф о доброте, которую невозможно формализовать. Такого Бога нельзя вписать в функцию, потому что он отказывается быть Другим в строгом смысле. Он ближе не к имени, а к прикосновению. К жесту. К молчаливому согласию быть рядом, даже если смысл разрушен. Эта религиозность — не вера в гаранта, а доверие к присутствию, которое не требует формулы. Она говорит не из структуры, а сквозь неё, как шёпот, который остаётся, когда все правила уже забыты.

Из этого возникает новая этика — не как система долга, а как форма существования, несмотря на отсутствие смысла. Если смысл — не дан, это не приговор. Это возможность. Жить без него — значит не отказываться от понимания, а перестать ждать, что кто-то объяснит. Смысл не существует — и именно поэтому его можно

создавать. Не как итог анализа, не как восстановление целостности, а как свободный жест: влюбиться, заботиться, держать слово, когда никто не требует. Это не противоречит Лакану, но выходит за его пределы: туда, где структура не замыкается на себе, а становится ступенью — к свободе, к боли, к другому человеку.

Так возможна и религия после Лакана — не как система ответов, не как моральный кодекс, а как форма доверия без объекта. Бог — не внешний закон, а внутренний голос, который не кричит, не убеждает, а просто звучит, когда всё остальное молчит. Этот Бог не утверждает структуры — он живёт в её расщелинах. Он не гарантирует, он напоминает. Его нельзя найти — но можно услышать. Он не диктует — он позволяет.

Жить после структуры — значит признать: язык создаёт человека, но не завершает его. Структура не тюрьма, а лестница. Её нужно не разрушить, а превзойти. Как ребёнок, овладев речью, однажды начинает молчать — не потому, что теряет язык, а потому, что находит иной способ присутствия. Структура дала возможность говорить. Но теперь настало время — быть.

Субъект, которого предлагает Лакан, живёт в расщеплении, в постоянной нехватке, в скольжении означающих, не достигающих ни объекта, ни удовлетворения. Он тревожен, он ищет, он несёт в себе пустоту как самую суть. Это знание, жестокое и точное, стало спасением от наивных утопий, от иллюзий цельности, от романтической веры в прозрачное «я». Но если пойти дальше — можно представить субъекта, который не только знает о своей мозаичности, но смеётся, глядя на неё. Не с горечью и не с цинизмом, а с

теплом — как ребёнок, собирающий головоломку, не пытаясь из неё сделать что-то законченное. Этот смеющийся субъект не восстанавливает «я», он играет его обломками, не отрекаясь от них, а перебирая их, как куклы, с которыми можно разговаривать, не веря в их реальность, но всё равно любя.

Речь идёт не о возвращении смысла, но о разрешении на игру. Не потому, что всё пусто, а потому, что даже пустота — материал. Жизнь может быть не системой, а театром, не учением, а импровизацией. И в этом театре Бог не занимает место всеведущего режиссёра. Он — участник сцены. Он не говорит из-за кулис, а садится в круг. Его голос — это не финальная реплика, а диалог, который не замыкается. Бог здесь — не истина, а собеседник. Не центр структуры, а тёплое присутствие. Его не надо понять. С ним можно говорить, ошибаться, молчать, петь. Он допускает неудачу. Он не требует.

Лакан привёл нас в лабиринт — с точными схемами, разветвлениями, повторами. Он показал, как тонко устроены стены, как двигаются механизмы, как бессознательное строит ловушку из самого языка. Но теперь пора выйти. Не потому, что лабиринт ложен, а потому, что за ним есть воздух. Снаружи — не цельность, но свет. Не знание, но игра. Не ответ, но объятие. Добрый и мягкий Бог — не насмешка над теорией, а знак того, что человек — не только структура, но существо, нуждающееся в утешении. И это утешение может быть не ложью, а правдой. Неполной, но подлинной. Мягкой, но не глупой. Такой, которая не объясняет, а остаётся рядом.

Смеющийся субъект не боится бессмыслиц. Он не торопится её заполнить. Он знает: за пределами

формулы есть место для жеста, для доброты, для неловкости. Он не ждёт, что мир сложится — он идёт и приносит плюшевого мишку. И этим жестом завершает не анализ, а молчаливый акт любви.

Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей *Lacan's structural edge: A study of fracture and faith between language, absurdity, and the edge of thought* (*Структурный край Лакана: Исследование разлома и веры между языком, абсурдом и гранью мышления*), опубликованной в *The Common Sense World*.

В этой статье я рассматриваю философские и психоаналитические идеи Жака Лакана, сосредотачиваясь на понятии "структурного края" и его связи с языком, верой и абсурдом. Обсуждаются границы рационального мышления и те моменты, где человеческий разум сталкивается с невозможностью выразить опыт словами. Буду рад вашему вниманию к моей статье, в которой обсуждается эта тема.

References

Kriger, B. (2025). *Lacan's structural edge: A study of fracture and faith between language, absurdity, and the edge of thought*.

Lacan, J. (1977). *Écrits: A selection* (A. Sheridan, Trans.).

London: Routledge. (Original work published 1966)

Lacan, J. (1991). *The seminar of Jacques Lacan: Book I. Freud's papers on technique 1953–1954* (J.-A. Miller, Ed., J. Forrester, Trans.). New York: W. W. Norton & Company.

Lacan, J. (1991). *The seminar of Jacques Lacan: Book II. The ego in Freud's theory and in the technique of psychoanalysis 1954–1955* (J.-A. Miller, Ed., S. Tomaselli, Trans.). New York: W. W. Norton & Company.

Lacan, J. (1993). *The seminar of Jacques Lacan: Book III. The psychoses 1955–1956* (J.-A. Miller, Ed., R. Grigg, Trans.). New York: W. W. Norton & Company.

Lacan, J. (1994). *The four fundamental concepts of psychoanalysis* (J.-A. Miller, Ed., A. Sheridan, Trans.). New York: W. W. Norton & Company. (Original work published 1973)

Lacan, J. (1998). *The seminar of Jacques Lacan: Book XX. Encore: On feminine sexuality, the limits of love and knowledge 1972–1973* (J.-A. Miller, Ed., B. Fink, Trans.). New York: W. W. Norton & Company.

Lacan, J. (2007). *The seminar of Jacques Lacan: Book XVII. The other side of psychoanalysis 1969–1970* (J.-A. Miller, Ed., R. Grigg, Trans.). New York: W. W. Norton & Company.

Lacan, J. (2006). *Écrits: The first complete edition in English* (B. Fink, Trans.). New York: W. W. Norton & Company.

Fotiade, R. (2001). *Conceptions of the absurd: From surrealism to the existential thought of Chestov and Fondane*. Oxford University Press.

Ogden, M. G. (2019). Facing the absurd: On Lev Shestov's Angel of Death. *European Journal of Psychotherapy &*

- Counselling*, 21(1), 1–17.
- Caws, P. (2002). Anxiety by Jacques Lacan. *Philosophy Now*, 113.
- McLachlan, J. M. (2010). Beyond the Self, Beyond Ontology: Levinas' reading of Shestov's reading of Kierkegaard. *Comparative and Continental Philosophy*, 2(2), 179–196.
- Shestov, L. (1905). *Apotheosis of Groundlessness*. [Russian original].
- Shestov, L. (1930–1937). *Athens and Jerusalem*.